

## ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОСТИ

© 2004 г. И. В. Журавлев

Кандидат психол. наук, научный сотрудник Института языкознания РАН, Москва

Предпринята попытка выявить и описать лингвистические механизмы конституирования субъективности. Как конститутивные понимаются акты, сохраняющие баланс между процессами присвоения и отчуждения в рамках отношений “индивидуальное–наиндивидуальное” (индивид–коллектив, речь–язык, воображаемое–символическое). В качестве стержневой проблемы рассматривается вопрос о взаимоотношениях между процессами “воображаемой” и “символической” идентификации субъекта.

*Ключевые слова:* субъективность, индивид, язык, речь, присвоение, другой, репрезентация, дискурс.

Многие понятия в лингвистике, а, возможно, и в психологии, предстанут в ином свете, если восстановить их в рамках речи, которая есть язык, присваиваемый говорящим человеком, а также если определить их в ситуации двусторонней субъективности, которая только и делает возможной языковую коммуникацию.

Э. Бенвенист [4, с. 292]

Проблема субъекта имеет длинную историю. Однако при любом способе ее постановки и решения мы неизбежно сталкиваемся со странным противоречием, которое можно представить как антиномию *присвоения–отчуждения*. Акт конституирования субъективности всегда есть акт индивидуализации, присвоения, выстраивания перспективы, организующей мир. Но в то же время это неизбежно акт отчуждения, деиндивидуализации, совершающийся по законам наиндивидуальной формы – языка, культуры, истории, бессознательного. По словам Э. Кассирера, “здесь каждое начинающееся проявление есть начало отчуждения. В этом судьба и, в некотором смысле, имманентная трагедия каждой духовной формы, которая не может преодолеть это внутреннее напряжение” [15, с. 63].

В разные эпохи философская мысль при рассмотрении этой антиномии склонялась то к одной, то к другой крайней позиции (свобода/детерминизм, антропоцентризм/онтоцентризм и т.п.); были и попытки ее преодоления, которые – как обычно происходит в подобных случаях – являлись собой скорее способ *переформулирования* проблемы, чем ее решения. Из работ по этому вопросу достаточно упомянуть исследования средневековых философов (начиная с Августина, уникальным образом соединившего в своей системе принципы свободы воли и божественного предопределения) и работы классиков немецкой философии – Канта, Фихте, Гегеля, Маркса и др. (ср.

известную формулировку “свобода есть осознанная необходимость”). Фундаментальное исследование проблемы индивидуальности и субъективности в новой и современной философии предпринято в недавно переведенной монографии А. Рено [29].

Проблема субъективности, как и любая действительно философская проблема, давно уже интересует не только философов и богословов: она обсуждается в филологии и истории, в психологии и даже физике. Для психологов это прежде всего вопрос о сущности процесса отражения (ср., например, лекции А.Н. Леонтьева и работы А.И. Миракяна [23, 24]). В современной психологии субъекта особое значение придается его активности. Проблема активности неслучайно “является одной из главных, она оказывается тем камнем преткновения, с которым сталкиваются все участники дискуссий о специфике субъектных проявлений личности и индивидуальности” [14, с. 97]. Согласно А.В. Брушлинскому, активность на уровне психического как процесса является способом формирования, развития и проявления человека как субъекта [5, 6].

Говоря о “субъективности в языке”, мы будем обсуждать главным образом работы французских структуралистов (Ф. де Соссюра, Ж. Лакана, М. Пешё и др.), в связи с чем наша позиция по ряду причин может показаться *антисубъектной* [6]. В действительности же мы стараемся оста-

ваться в рамках указанной антиномии, не склоняясь к какой-либо из крайних позиций. Возможно, нам удастся показать, что слухи о “смерти субъекта” в структурализме оказались несколько преувеличенными. Для наших целей вполне подходит метафорическое уподобление субъекта точке в системе координат. Точка вне этой системы не существует, также как и координаты не существуют сами по себе. Однако в попытках решить эту головоломку мы иногда не замечаем, что *точка – это и есть ее координаты*.

Итак, присвоение и отчуждение мы будем рассматривать не как процессы, определяющие отношения “субъект–объект” (свое–чужое), но как процессы или акты, организующие отношения “индивидуальное–надиндивидуальное” (индивид–коллектив, речь–язык). Если в классической парадигме целостность субъекта рассматривалась главным образом как следствие тождества его самому себе, то в неклассических концепциях субъект децентрирован: его воображаемое единство достигается за счет присутствия *другого*. Но само утверждение конститутивного характера этой “встречи” с *другим* бессмысленно до тех пор, пока “горизонтальным” отношениям “я–другой” не предваряются как условие их возможности “вертикальные” отношения “индивидуальное–надиндивидуальное”. Принимая это, мы можем утверждать, что, хотя любой акт конституирования субъективности и происходит “между” я и *другим* (например, высказывание “вытягивается” *другим*), тем не менее он осуществим лишь как акт встраивания в форму, изначально внешнюю по отношению к индивиду.

“Языковую деятельность, – писал Ф. де Соссюр, – постоянно рассматривают в пределах *отдельного индивида*, а это ложная точка зрения. ...Язык является социальным фактом. Индивид, приспособленный для языковой деятельности, может использовать свои органы речи только при наличии окружающего его коллектива, к тому же он испытывает потребность использовать их, лишь вступая с ним в отношения. Он полностью зависит от этого коллектива; его расовые признаки не играют никакой роли (разве только в некоторых особенностях произношения). Следовательно, в этом отношении человек становится вполне человеком только посредством того, что он заимствует из своего окружения” [31, с. 66]. Перефразируя А.Н. Леонтьева, можно сказать, что речь “не хранится в голове”, как и в камне не хранится огонь, высекаемый сталью [22, с. 106]. Необходимая социальность языка есть условие развития языковой способности: речь – это вариация социального, возможная только там, где *есть* язык. Язык нельзя было изобрести – точно также, как нельзя изобрести государственное устройство: ни индивид, ни даже группа индивидов

не могут стоять у истоков языка<sup>1</sup> [7, с. 73–76]. В связи с этим и роль индивидов, вводящих в язык ту или иную инновацию, может заключаться единственно в ускорении “филогенеза” языка [33], в то время как сами языковые изменения полностью определяются предшествующим состоянием языковой системы [34, с. 28].

В XX в. в различных гуманитарных дисциплинах (философия, психология, лингвистика, психоанализ) была продемонстрирована возможность определения субъективности как иерархии актов репрезентации–присвоения, осуществляемых в языке и средствами языка. Этому посвящены, в частности, работы Э. Бенвениста и исследования французской *школы анализа дискурса*. Несколько ранее Э. Кассирер в своей “Философии символических форм” и параллельных ей работах отмечал, что посредством языка “субъекты не общаются друг другу то, чем уже владеют, но лишь здесь вступают в это владение” [15, с. 61].

В работах о субъективности в языке Бенвенист отводил центральное место анализу проявления субъекта в речи. Говорящий “присваивает” язык целиком, определяя себя и собеседника как *я–ты*. Соотношение между *я* и *ты* как участниками коммуникации и составляет, как считал Бенвенист, языковую основу субъективности, а сама языковая коммуникация определяется только как проявление основного свойства языка – свойства формирования субъекта высказывания.

Субъект высказывания приобретает существование только потому и только тогда, когда он говорит: «именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект... “субъективность”, рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть “ego”, кто говорит “ego”» [4, с. 293]. Субъект, поэтому, оказывается способным обнаружить себя лишь в ситуации порождения высказывания, обращаясь к *другому* и обретая (присваивая) язык как место встречи с *другим*.

Но субъект, *проявляющий* себя в языке, и субъект, который в языке *появляется*, – это не одно и то же. Здесь мы и подходим к основной из обсуждаемых проблем. Сам “говорящий субъект” может показаться странным созданием, фигурой без лица: если мы, используя для коммуникации *язык*, что-либо произносим, то *владеем* ли мы в этот момент языком, и вкладываем ли мы сами смысл в говоримое? Кто бы ни *говорил*, во-

<sup>1</sup> Объяснить это можно достаточно просто: с самого начала вообще нет и не может быть никакого индивида, – индивидуальному сознанию всегда предшествует мир коллективных представлений, сознание племени, тотем, миф и т.п. Впрочем, я не утверждаю первенства языка перед речью: язык не “переносится” в индивидуальную голову, точно также как и речь не “извлекается” из нее.

прос в том, *кто* это делает. Мы ведь достаточно часто произносим не совсем то или совсем не то, что “хотели” сказать... Стоит нам попытаться что-то произнести – и за нас говорит *язык*. Но при этом всегда кажется, что именно мы сказали то или иное слово, а потому и ответственны за него – иначе нам бы не приходилось краснеть за слова, которые “сказались сами”.

Итак, говорящий субъект лишен полного владения языком и своими коммуникативными намерениями – поскольку в смысл, который он хочет придать своим словам, “история и бессознательное вносят свою непрозрачность” [30, с. 16]. Здесь обнаруживает себя расщепленность говорящего субъекта: сквозь произносимую им “наивную” речь всегда проступает “другая” речь как форма неполноты, постоянно создающей субъект путем “забвения” того, что его определяет [3, с. 116; 26, с. 268].

Концепция дискурса, “пронизанного” бессознательным, основывается на концепции субъекта, “который является не однородной сущностью, внешней по отношению к речевой деятельности, но комплексной структурой, порождаемой ею: субъект децентрализован, разделен – неважно, какой термин мы употребим, лишь бы подчеркнуть структурный, конституирующий характер этой разделенности и исключить мысль о том, что раздвоение, или разделенность, субъекта – всего лишь следствие его столкновения с внешним миром, ибо такую разделенность можно было бы попытаться преодолеть в ходе работы по восстановлению единства личности” [25, с. 81]. Это рассуждение вплотную подводит нас к анализу лакановской концепции субъективности, точнее – тех ее сторон, которые касаются субъекта в языке.

Продемонстрируем расщепленность субъекта на простом примере. Когда говорящий произносит одно слово вместо другого, совершая тем самым *lapsus linguae*, возникает своеобразный “эффект смысла” (Ж. Лакан): означаемое явного означающего, сменившего собой скрытое (вытесненное) означающее, само не является скрытым означаемым, но представляет собой *новый смысл*, высвобожденный в результате замены одного означающего другим [11, с. 95]. Вследствие этого высказывание становится высказыванием о смысле желания, т.е. о том, о чем нельзя говорить. Говорящий субъект, таким образом, подчинен *закону означающего*, поскольку смысл произносимых им слов не исходит из довербального опыта, лишь только *оформляясь* в слове, а, напротив, рождается вместе с означающим, т.е. является “смыслом, который опыт может *получить* в дискурсе”<sup>2</sup> [11, с. 96].

<sup>2</sup> Поэтому вопрос о том, “кто говорит”, не такой уж праздный [19]. Иллюзию того, что субъект и есть источник смысла, М. Пешё назвал “эффектом Мюнхгаузена” – в память о бессмертном бароне, который “поднимался в воздух, таща самого себя за волосы” [26, с. 264].

Говоря словами Лакана, “речь представляет собой матрицу той части субъекта, которую он игнорирует: именно это и есть уровень аналитического симптома как такового – уровень, эксцентричный по отношению к индивидуальному опыту, ибо это уровень того исторического текста, в который субъект вписывается” [20, с. 65]. Лакановский субъект – это именно “говорящий субъект”, обнаруживаемый в языке, где он постоянно захвачен в сеть означающих, в которой одно означающее всегда отсылает к другому. Это создает своеобразное скольжение вдоль цепочки означающих, прерывание которой (т.е. возникновение значения, повернутого на себя) может знаменовать лишь возникновение бреда [19, с. 205].

Тем самым любая речь в момент своего появления уже “есть заранее”, иными словами, субъект, начинающий говорить, всегда “уже есть” в том месте, которое определено ему для его самообнаружения в определенном символическом порядке, в сети означающих. Для иллюстрации этого Лакан приводит историю о мальчике и девочке, сидящих в купе поезда друг напротив друга и видящих поэтому разные надписи на туалетных комнатах у перрона. “Смотри, – говорит мальчик, – мы приехали в Дамы”. “Дурень, – отвечает сестренка, – ты что, не видишь, что мы приехали в Господа?” [17, с. 60].

Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим предложенную М. Пешё теорию “двух забвений”.

“Забвение № 1” есть “затемнение” (по аналогии с “вытеснением”) того факта, что “говорящий субъект не может, по определению, находиться вне дискурсной формации, которая над ним господствует” [26, с. 277]. Говорящий всегда “уже” занимает определенное место “в купе”, как в лакановском примере. Это “забвение” относится одновременно и к дискурсному процессу, и к интердискурсу (т.е. специфическому “окружению”, определяющему данный дискурсный процесс). Оно имеет место всегда, когда “процесс, в результате которого порождается или воспринимается как осмысленная некоторая конкретная дискурсная цепочка, скрывается от глаз субъекта” [27, с. 109]. Иными словами, говорящий “забывает”, что *смысл произносимого им формируется во внешнем для него процессе*. Зона “забвения № 1” абсолютно недоступна субъекту (т.е. аналогична зоне *бессознательного*), но именно поэтому это “забвение” является составляющей субъективности в языке [27, с. 118].

“Забвение № 2” – это “частичное затемнение”, происходящее тогда, когда говорящий отбирает одно высказывание, а не другое. Это “забвение” относится к процессу порождения высказывания, представляющему собой серию последователь-

ных операций, устанавливающих границу между тем, что сказано (т.е. отобрано), и тем, что не сказано (т.е. отброшено). Так вырисовывается область того, что было возможно сказать, но что не было сказано. «Эта сфера “отбрасываемого” может ощущаться более или менее сознательно, и случается, что вопросы собеседника, направленные на уточнение у говорящего того, “что он хотел сказать”, заставляют его переформулировать границы и пересмотреть эту зону» [27, с. 116–117]. “Забвение № 2”, тем самым, оказывается источником впечатления доступности смысла самому говорящему (как будто бы он сам “знает” то, что говорит). При этом говорящий может сознательно проникать в зону “забвения № 2” (аналогичную зоне *подсознательного/сознательного*): дискурс постоянно возвращается к самому себе, предвосхищая производимое воздействие и учитывая несогласованности, которые вносятся в него дискурсом собеседника.

Отношение между этими двумя типами “забвения” сводятся к отношению между объективными условиями существования субъективной иллюзии и субъективными формами ее реализации [27, с. 118]. Чтобы вернуться к Лакану, можно представить указанное взаимоотношение как противопоставление между «процессом интерпелляции–субъектизации субъекта, соотносящимся с тем, что Ж. Лакан метафорически обозначает как “Другой” с большой буквы», и конкретной эмпирической ситуацией, «для которой характерно воображаемое отождествление другого с собой (другой – это другое “я”, причем “другой” с маленькой буквы)» [27, с. 118].

Итак, *сознательное* и *бессознательное* у Лакана представляют собой разные стороны субъекта, присутствующие исключительно в речи – как сама речь и имплицированная в ней “другая” речь, доступная лишь в форме прорывов сквозь заслоны *символического* (иногда Лакан использует термины “пустая речь” и “полная речь”). Но поскольку то, что доступно, уже не есть бессознательное, это последнее как *функция реального* всегда оказывается за пределами говоримого, т.е. лежит как бы по ту сторону языка: “язык создан как для того, чтобы укоренить нас в Другом, так и для того, чтобы в принципе помешать нам его понять” [20, с. 351]. Так *реальное* Лакана обнаруживает свою аналогию с “невидимым миром” Гумбольдта, расположенным за пределами языка – миром, которого никогда нельзя достигнуть, так как ведет к нему только язык [10, с. 378]. Поэтому бессознательное – постоянно ускользающее от обнаружения в языке, но существующее именно как процесс этого обнаружения – в основе своей “структурировано, сплетено, опутано, соткано языком” [18, с. 220].

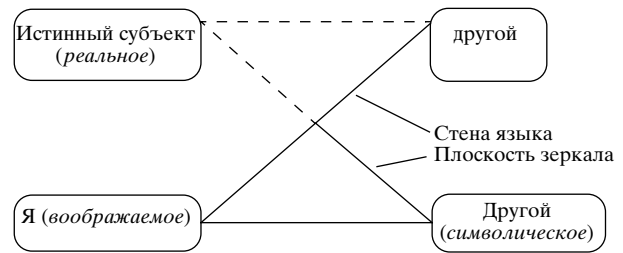


Рис. 1. “Схема в форме z” Ж. Лакана.

Если субъективность представляет собой систему отношений, разворачивающихся внутри языка в процессе говорения, то сам акт производства высказывания (т.е. эмпирическая ситуация воображаемого отождествления *другого* с собой) движим онтологическим принципом постоянной недостаточности, “испытываемой” довербальным (нарциссическим, инфантильным) “субъектом”. Этот принцип недостаточности заключен в диалектике *желания* и *признания* (имеющей не психологический, а метафизический смысл): “я” *желания* определяется через отношение к *другому* и признания *другим*. Поэтому и речь всегда обращена к другому; структура речи “состоит в том, что субъект получает свое сообщение от другого в инвертированной форме” [19, с. 210; 21, с. 67–68].

Так проявляются взаимоотношения между *воображаемым* и *символическим*: если воображаемое есть идентификация с *другим*, отмеченная знаком ускользающего, искажающегося единства (как в зеркальном отражении), то символическое есть функция удержания этого воображаемого единства. “Слово, именующее слово, – вот залог идентичности” [20, с. 242]. И здесь возможна интересная аналогия: *воображаемое*, являясь индивидуальной вариацией *символического*, занимает по отношению к нему примерно ту же позицию, которую “речь” у Соссюра занимает по отношению к “языку” [13]. Поясним сказанное с помощью рис. 1 [20, с. 349].

*Реальное* находится за пределами языка, но обнаруживается исключительно в *символическом*, функция которого – поддерживать *воображаемое* (зеркальное) единство *я* и *другого* (участников процесса первичной идентификации).

Ситуация, в которой происходит конституирование субъекта как субъекта высказывания, представляет собой совокупность условий, которые можно рассматривать как внешние по отношению к говорящему субъекту, возникающему исключительно в момент произнесения высказывания. Парадоксальность этого момента заключается в сопровождающей его иллюзии субъективности: говорящий субъект будто появляется из речевой цепочки, чтобы быть застигнутым в

качестве причины прежде сказанного [26, с. 263]. Однако эта причина должна быть внешней по отношению к говоримому, т.к. иначе она оказалась бы тождественной ему.

Первый вывод на основании сказанного: речь, движимая желанием, неминуемо есть речь для другого. Второй вывод: желание может быть рассматриваемо как онтологический конститутив, обеспечивающий встречу довербального его с самим собой (т.е. с *другим*). Именно сознательное желание существа конституирует это существо как *я* [16]. Но желание поэтому определяется как внесубъективный, т.е. “находящийся” за пределами говорения, принцип, приводящий в движение речь.

Постоянная недостаточность, создающая своеобразное поле для разворачивания речи, аналогична описываемой Гегелем необходимости удовлетворения в *другом* и подтверждения себя в “смертельной схватке” с *другим*: противоположные самосознания “должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в том, чтобы быть *для себя*, они должны возвысить до истины в другом и в себе самих” [8, с. 100]. Соперничество в борьбе за объект желания (интересный лишь как объект желания другого), сопровождающее процесс первичной идентификации, которую Лакан пытался связать со “стадией зеркала” (описанной, впрочем, не им, а А. Валлоном), преодолевается именно в речи, представляющей собой нечто вроде договора или соглашения [19, с. 213].

Итак, **другой в качестве условия производства речевой цепочки обеспечивает ряд ее свойств**, которые мы теперь и рассмотрим. Эту совокупность свойств можно назвать *семантической репрезентативностью* высказывания, т.е. его способностью быть высказыванием о чем-то для кого-то<sup>3</sup>.

1. Обращенность (коммуникативность) речи. Любое высказывание строится в условиях постоянного переключения с *я* на *другого*, и наоборот; тем самым, экспектация возможности ответного высказывания предупреждает превращение речи говорящего в “глас вопиющего в пустыне”. Слово всегда межиндивидуально, и его “нельзя отдать одному говорящему” [2, с. 301].

2. Связность и осмысленность речи. Речь, обращенная к другому и производимая в той ситуации, когда *другой* – это и есть *я*, постоянно возвращается к самой себе, обретая тем самым свою связность, а в силу встроенности в уже сказанное –

и свой смысл<sup>4</sup>. Возможность связывания происходящего с тем, что “уже было”, есть основная характеристика функции репрезентации–присвоения [12]. Однако говорение, знаменуя собой вступление в зону символического<sup>5</sup>, реализует еще одну функцию – функцию поддержания воображаемого единства *я* и *другого*, т.е. идентичности говорящего субъекта (связности его с самим собой).

3. Перформативность, дейксис и формирование лица. Процесс производства высказывания неизбежно сопровождается иллюзией того, что “кто-то”, т.е. сам субъект, говорит. Производство высказывания, тем самым, оказывается как бы неотделимым от существования говорящего субъекта, который, хотя и возникая только внутри говоримого, прекрасно “пользуется” этой иллюзией, формирующей в речи категорию лица. Говорящий в процессе говорения определяет себя как *я*, а собеседника – как *ты* [4, с. 294], будучи в принципе неспособным “сбежать” в нейтральную позицию третьего лица, иными словами – говоря, перестать говорить. Такой акт был бы равносильным возврату к первобытному состоянию, где язык не выполняет еще функцию репрезентации. Но вместе с тем лингвистически “я” – это всего лишь переключатель, шифтер, представляющий собой один из самых пустых терминов языка [35, с. 162–170], поскольку его функция – перескакивать от субъекта к субъекту, сопровождая говорение: я это “я”, когда я говорю с тобой, но ты это “я”, а я это “ты”, когда ты говоришь со мной, и т.д.

4. Содержательность. Любая актуально произносимая речь есть речь о том, что происходит, происходило или может произойти. Онтология происходящего может быть моделирована в виде системы концептов, определяющих кванты событийного потока: принято говорить о событиях, процессах, действиях, изменениях, фактах, признаках, свойствах, качествах, поступках и т.д. [1, с. 404].

Итак, само осуществление речи мы можем рассматривать как функцию *другого*, поскольку именно *другой*, по аналогии с *causa finalis* Аристотеля, постоянно “вытягивает ее на себя”, обеспечивая вместе с тем такие главные ее свойства, как обращенность, связность, осмысленность и содержательность.

<sup>4</sup> Поэтому сказать самое первое слово как будто бы вообще невозможно: для этого нужно быть Богом. В связи с этим В. фон Гумбольдт и считал, что язык может возникнуть лишь одновременно, поскольку “языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым целым” [9, с. 308]. Однако самые первые слова вовсе не были призваны *назвать* какой-либо объект, скорее они *выражали* нерасчлененное целое: событие–объект–ситуацию.

<sup>5</sup> “Как только субъект начинает говорить, перед нами уже Другой”, т.е. символическое [19, с. 215].

<sup>3</sup> Решая задачу, подобную нашей, М. Бахтин выделил ряд признаков высказывания (смена речевых субъектов, экспрессивность, целостность, завершенность и др.) [2]. Эти признаки мы рассматривать сейчас не будем, т.к. хотим обратить внимание читателя на иные стороны высказывания.

Однако присутствие *другого* уловимо не только в качестве условия производства речевой цепочки, но также и в качестве неотъемлемой ее структурной составляющей: все, что мы говорим, пронизано словами других. Поэтому теперь мы перейдем к рассмотрению показателей, позволяющих обнаружить структурное присутствие *другого* в дискурсе; совокупность свойств высказывания, обусловленных присутствием в нем “других” (*чужих*) слов, можно назвать его *неоднородностью* [25].

1. Косвенная и прямая речь, обозначающие в предложении другой акт высказывания.

2. Маркируемые формы метадискурса: в речь говорящего встроены слова, и одновременно говорящий их показывает. Фрагмент, отмеченный кавычками, интонацией или комментарием, приобретает по отношению к остальному дискурсу иной статус (“как говорят”, “что принято называть” и т.п.). Различные формы метадискурса являются показателями деятельности по контролю за процессом коммуникации и специфицируют различные условия, которые говорящий считает необходимыми для “нормального” речевого взаимодействия, и которые тем самым имплицитно присутствуют как “сами собой разумеющиеся” в остальной части дискурса [25, с. 55].

3. Засловесная или внутрисловесная неоднородность: акрофоническая перестановка (“в куче травел сидечик”), соположение *одного* и *другого* (“невроз – роза вен мозга”; “старик музыкант” → “Кант – старик музы”) и др.

4. Дискурсные формы, которые никак однозначно и эксплицитно в предложении не маркируются, но могут быть узнаны на основании признаков, выявляемых в дискурсе в зависимости от внешних условий. Это случаи несобственно прямой речи, иронии, антифразы, подражания, стереотипа и др., создающие пространство полускрытого и намекаемого, без каких-либо четких границ переходящее в область неявного, разлитого присутствия *другого* в дискурсе.

Таким образом, пройдя через континуум выявляемых в дискурсе маркируемых форм присутствия *другого*, мы в конечном счете сталкиваемся с ним как с бесконечно удаляющейся точкой на горизонте, в которой уже исчерпываются возможности лингвистической оценки: “другой – слова других, другие слова – присутствует повсюду, постоянно в дискурсе, но так, что это присутствие не поддается лингвистическому анализу” [25, с. 60]. Это повсеместное присутствие *другого* в дискурсе создает его конститутивную, изначальную неоднородность: можно утверждать, что “структурно внутри субъекта, в его дискурсе, принципиально имеется *другой*” [25, с. 81].

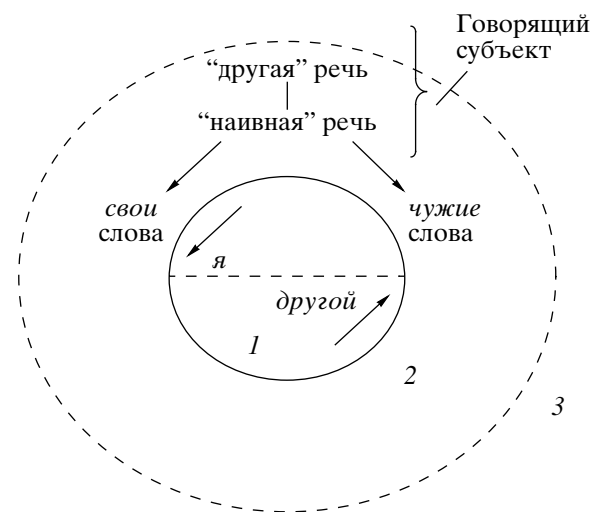


Рис. 2. Позиция *другого* в структуре говорящего субъекта. 1 – зона воображаемого, 2 – зона символического, 3 – зона реального.

Теперь мы можем представить акт конституирования субъективности как сочетание двух разнонаправленных процессов – присвоения и отчуждения, “притягивающих” субъекта в зону индивидуального (*воображаемого*) и одновременно “выталкивающих” его в зону надиндивидуального (*символического*) (рис. 2).

Постоянно обращаемые зеркальные отношения между *я* и *другим* приводят в движение речь, в которой *свои* слова всегда пронизаны “другими”, *чужими* словами. Однако сама речь расщеплена на “наивную” и проступающую сквозь нее “другую” речь, идущую из области бессознательного. Субъект, начинающий говорить, моментально оказывается в зоне символического (Большого) *Другого*. Для того, чтобы осуществить присвоение, он должен сделать переход от Большого к воображаемому *другому* [32, с. 53], выхватывая из языка *чужие* слова и вводя тем самым *другого* в собственный дискурс. Другой, поддающийся экспликации в дискурсе, – это *другой воображаемый*. В результате этой экспликации образуется дискурсная форма, указывающая на производимый процесс присвоения (репрезентации): “другие”, *чужие* слова – это *форма* воображаемого присутствия *другого* в дискурсе. Однако весь смысл здесь заключается в том, что там, где есть *чужие* слова, всегда есть *свои*, и наоборот.

Здесь появляется принципиально важный запрет на наивное понимание присвоения. Если считать, что я присваиваю все то, что произношу, то тогда теряет смысл само разделение *своего* и *чужого*. Говорение и присвоение – разные вещи. Я могу произнести слова, которые в моей речи будут отмечены как *свои* или как *чужие*, причем со-

вершенно неважно, сам ли я их придумал, или нет. Для того, чтобы в высказывании могли присутствовать *чужие* слова, должна существовать соответствующая *форма*. Что мы понимаем под *чужими* словами? Что вообще позволяет различать *свое* и *чужое*, сосуществующее именно в одной и той же речевой цепочке? Напрашивающийся ответ (*чужое* – это “взятое из другого источника”), как мы можем теперь заключить, не имеет смысла. В роли *чужих* могут оказаться слова, никогда никем не произнесенные. Точно также и чужие слова могут оказаться *своими*. Мы постоянно говорим чужими словами. Поэтому единственный критерий неоднородности высказывания – *форма*, т.е. маркируемость слова в качестве чужого. Неоднородность *создается* в процессе говорения. Однако, как мы помним, высказывание *всегда* неоднородно: на пути более или менее осознанного введения в дискурс *чужих* (читай – *своих*!) слов присвоение рано или поздно ожидает коллапс. Именно в таком *коллапсе присвоения* и проявляется изначальная, конститутивная неоднородность дискурса, принадлежность его *Другому*, присутствующему везде, в любых словах – даже тех, которые мы считаем *своими*.

Значит, в сфере “горизонтальных” отношений “я–другой” *чужое* должно быть маркировано, и только тогда оно будет присвоено. Однако в сфере “вертикальных” отношений “индивидуальное–надиндивидуальное” совершенно неважно, маркированы ли слова в качестве *своих* или *чужих*: и то, и другое есть свидетельство присвоения (ибо его область – это область воображаемого отождествления *другого* с собой). Не вводя *другого* в собственный дискурс, вообще ничего нельзя сказать (так как в таком случае просто некому и нечего говорить). Но *присвоенным* с этой точки зрения будет только то, в чем сохраняется идентичность говорящего субъекта, т.е. то, что временно *отчуждено*.

Дело в том, что процесс присвоения происходит так, чтобы не дать области *воображаемого* быть “затопленной” *символическим* (так сохраняется баланс между индивидуальным и надиндивидуальным, только и делающий возможным существование субъекта). Однако этому процессу всегда сопутствует отчуждение: воображаемое отношение запускает движение речи, которая погружает говорящего субъекта в зону *символического*. И именно символическое, создавая скольжение говоримого вдоль цепочки означающих, поддерживает идентичность говорящего субъекта, который, однако, об этом “забывает”: эта зона аналогична зоне “забвения № 1”. При этом говорящий субъект, в процессе репрезентации вводящий *другого* в собственный дискурс, пытается как бы вернуться в зону воображаемого отождествления *другого* с собой, аналогич-

ную зоне “забвения № 2”. Тем самым, присвоение может быть интерпретировано как осуществляемая через язык «субституция, замещение Большого Другого “ручным” *другим* – воображаемым, мыслимым, понятным» [32, с. 55]. Так высказывание “другого” превращается в высказывание “я”.

Таким образом, конститутивными мы можем называть акты, сохраняющие баланс между процессами присвоения и отчуждения. В этом случае любое нарушение такого баланса окажется деститутивным актом, искажающим или разрушающим субъективность. И тотальное присвоение, и тотальное отчуждение появляются там, где невозможен субъект. Более того, здесь снова обнаруживает себя антиномия: оказывается, что присвоение и отчуждение – это одно и то же. Самый яркий пример такой ситуации – парадокс психотического дискурса (мы можем назвать его *парадоксом авторства*). С одной стороны, психотик действительно “не сам” говорит: за него говорит *символическое* – поскольку его речь более не присваивается путем введения *другого* [12]. Это подметили еще античные греки, называвшие речь безумцев речью богов: “...ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, божественными вещателями или пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишены рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог...” [28, с. 377]. С другой стороны, речь психотика вырвана из контекста интересубъективности, создаваемого присутствием *другого* и обращенностью к другим. Поскольку любой дискурс всегда содержит в себе следы других дискурсов, будучи переплетенным и связанным с ними [30, с. 45], то “эффект смысла” любого высказывания задается встроенностью этого высказывания в интердискурс. Субъект, начинающий “говорить сам”, выпадает из этого пространства, порождая бессмыслицу. В “этом смысле” психотик – и есть тот, кто “говорит сам”: он сам свой бог и свой язык.

В заключение подчеркнем двоякую роль *другого* в акте конституирования субъективности: как необходимый участник процесса первичной идентификации, *другой* скрывается за актом производства высказывания, “вытягивая” на себя каждое произносимое слово, но в то же время он постоянно “закрадывается” в сами эти слова, оспаривая их авторство. Запуская говорение и помещая тем самым субъекта в область *символического*, *другой* “выхватывает” произносимые слова обратно, притягивая их к зоне *воображаемого*. Говорящий субъект поэтому подобен теннисному корту, на котором *воображаемый другой* и *символический Другой* играют в слова, или, скорее, он подобен самой этой игре.

Итак, мы показали принципиальную возможность выявления и анализа лингвистических механизмов конституирования субъективности. Рассмотренные процессы представляют собой лишь одну из возможных практик "рождения" субъекта. Это достаточно узкая область, обращение к которой было продиктовано, в частности, ее сравнительно небольшой разработанностью в сфере психологических исследований. Предлагаемый подход намечает способ постановки проблемы, но не претендует на разрешение всех возникающих в его рамках теоретических и практических вопросов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3. Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда // Общая лингвистика. М., 1974. С. 115–126.
4. Бенвенист Э. О субъективности в языке // Общая лингвистика. М., 1974. С. 292–300.
5. Брушлинский А.В. О критериях субъекта // Психология индивидуального и группового субъекта / Под ред. А.В. Брушлинского и М.И. Воловиковой. М., 2002. С. 9–33.
6. Брушлинский А.В. Психология субъекта. СПб., 2003.
7. Вундт В. Проблемы психологии народов // Психология народов. М.–СПб., 2002. С. 10–116.
8. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000.
9. Гумбольдт В. фон. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // Избранные работы по языкознанию. М., 1984. С. 307–323.
10. Гумбольдт В. фон. Характер языка и характер народа // Язык и философия культуры. М., 1985. С. 370–381.
11. Декомб В. Тожественное и иное // Современная французская философия. М., 2000. С. 7–182.
12. Журавлев И.В., Тхостов А.Ш. Феномен отчуждения: стратегии концептуализации и исследования // Психол. журн., 2002. № 5. С. 42–48.
13. Журавлев К.В. Семиотические модели психики и проблема статуса субъекта в философии XX века: Дипломная работа. М.: МГУ, 1999.
14. Знаков В.В. Психология субъекта как методология понимания человеческого бытия // Психол. журн., 2003. № 2. С. 95–106.
15. Кассирер Э. Логика наук о культуре // Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 7–154.
16. Кожев А. Введение в чтение Гегеля // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 59.
17. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
18. Лакан Ж. О бессмыслице и структуре Бога // Метафизические исследования. XIV. СПб., 2000. С. 218–231.
19. Лакан Ж. Психоз и Другой // Метафизические исследования. XIV. СПб., 2000. С. 201–217.
20. Лакан Ж. Семинары. "Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа. М., 1999. Кн. 2.
21. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
22. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения в 2-х тт. М., 1983. Т. 2. С. 94–231.
23. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000.
24. Миракян А.И. Контуры трансцендентальной психологии. М., 1999.
25. Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме *другого* в дискурсе // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Сост. П. Серю. М., 1999. С. 54–94.
26. Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Сост. П. Серю. М., 1999. С. 225–290.
27. Пешё М., Фукс К. Итоги и перспективы по поводу автоматического анализа дискурса // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Сост. П. Серю. М., 1999. С. 105–123.
28. Платон. Ион // Собр. соч. в 4-х тт. М., 1990. Т. 1. С. 372–385.
29. Рено А. Эра индивида: к истории субъективности. СПб., 2002.
30. Серю П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Сост. П. Серю. М., 1999. С. 12–53.
31. Соссюр Ф. де. Особенности языка (языковой деятельности) // Заметки по общей лингвистике. М., 2001. С. 66–67.
32. Усманова А.Р. Репрезентация как присвоение: к проблеме существования *другого* в дискурсе // Топос. 2001. № 1(4). С. 50–66.
33. Jakobson R. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1929. № 2. P. 98.
34. Kořinek J.M. Einige Betrachtungen über Sprache und Sprechen // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 1936. № 6. S. 23–29.
35. Strawson P. The Bounds of Sense: an essay on Kant's Critique of pure reason. London, 1966.



## PSYCHOLOGICAL-LINGUISTICAL ANALYSIS OF THE SUBJECT ORGANIZATION

**I. V. Zhuravlev**

*Cand. sci. (psychology), res. ass., chair of psycholinguistics and theory of mass communication,  
Institute of Linguistics of RAS, Moscow*

There are described the linguistic mechanisms of subjectivity constitution. The constitutive acts are defined as the acts that keep balance of appropriation and alienation processes within the framework of individual-extra-individual relations (individual–group, speech–language, imaginary–symbolic). There is emphasized the problem of relations between the processes of “imaginary” and “symbolic” subject’s identification.

*Key words:* subjectivity, individual, language, speech, appropriation, the other, representation, discourse.